

Женихи Бурсы

Очерк третий

Николай ПОМЯЛОВСКИЙ

Наконец Аксютка доигрался с Лобовым до скверной шутки. Заглянула бурса в столовую, «щей негодных похлебала и опять в свой класс идёт». Один лишь Аксютка щёлкает зубами.

Как бы то ни было, все более или менее подкрепились; один лишь Аксютка щёлкает зубами от голода, или, по туземному выражению, у него *по брюху девятый вал ходит, в брюхе зорю бьют*. Положение Аксютки никогда не было так беспомощно, как теперь, и в моральном, и в животном отношении. Он, потешаясь над Лобовым, по обыкновению своему, лишь только попал в Камчатку, как опять стал появляться в *нотате с пятками*, то есть самыми лучшими баллами.

Это только сбесило учителя: «Ты, животное, — сказал ему Лобов, — потешаешься надо мною: когда тебя порют, у тебя в нотате нули; когда шлют в Камчатку — пятки? Знаю я тебя: ты добиваешься того, чтобы опять перейти на первую парту, чтобы потом снова бесить меня нулями? Врешь же! Не бывать тебе па первой парте, и пока у тебя снова не будут нули, до тех пор не ходи в столовую». Аксютка клялся и божился, что он раскаялся и теперь будет учиться постоянно. Лобов ничего слышать не хотел. «Не надо твоего ученья, — сказал он: — сиди в Камчатке».

Аксюткино самолюбие было сильно задето, и, раздувая ноздри, он думал: «Посмотрим, чья возьмёт!» И в нотате его были отличные баллы; но Лобов каждый раз говорил ему: «И сегодня не жри!»

В продолжение трёх дней Аксютка кое-как перебивался, выкрадывая там или здесь булку, сайку, ломоть хлеба, толокно, горох и тому подобное. Вчера он забрался в *сбитенную, где Ванька рыжий* продавал сбитень, сайки, булки, пеклеванные хлебы, сухари, крендели, яблоки, репу, патоку, мёд и красную икру, а для избранных *и водчонку*, разумеется, по двойной цене против откупной; здесь Аксютка успел украсть несколько булок, насадив на палку гвоздь, которым и добывал из-за залавка съедомое, когда Ванька рыжий отходил в другую сторону. Но сегодня была среда, а сбитенная наполнялась битком только по понедельникам и вторникам, пока у бурсачков держались деньжонки, принесённые из дому; а при безлюдстве в сбитенной опасно было рисковать на воровство в ней. Что было делать? Бурсаки, зная, что у Аксютки девятый вал в брюхе, бережно припрятывали ломти хлеба и зорко следили за ним. Большинство не желало делиться с ним запасным хлебом; впрочем, и делиться было не с чего: утренних и вечерних фриштиков в бурсе не полагалось; за обедом выдавали только по два ломтя хлеба, из которых один съедался в столовой, а другой уносился в кармане в запас.

Между тем всё училище высыпало на двор. Ученики строили катальную гору. Так как досок взять было неоткуда, то вся гора была сплошь из снега. Снежные комы величиною в рост человека двигались по огромному двору училища. Около каждого из них, под командою вожака, работало человек по десяти. Комы доставлялись к горе, около которой, как муравьи в муравейнике, кишели ученики. Дня через два по длинному расчищенному раскату, который был немного менее балаганных раскатов Петербурга, полетит бурса вниз головою на санках, салазках, подмороженных дощечках, рогожках, коньках, а то и просто на самородном самокате, то есть на брюхе вверх спиною. Бурсаки представляют весёлый и радостный вид: раздаётся команда выбранного распорядителя, призыва к работе, звонкие басы и тенора, хохот, остроты. Весело.

Аксютка щёлкает зубами.

На левой стороне двора около осьмидесяти человек играют *в килу* — кожаный, набитый волосом мяч величиною в человеческую голову. Две партии *сходились* стена на стену; один из учеников *вёл килу*, медленно подвигая её ногами, в чём состоял верх искусства в игре, потому

что от сильного удара мяч мог перейти в противоположную сторону, в лагерь неприятеля, где и завладели бы им. Запрещалось *бить с носка* — при этом можно было нанести удар в ногу противника. Запрещалось *бить с закилька*, то есть, забежав в лагерь неприятеля и выждав, когда перейдёт на его сторону мяч, прогонять его *до города* — назначенной черты. Нарушающему правила игры *мылили шею*.

— Кила! — закричали ученики. Это означало, что *город взят*.

Победители в восторге и с гордостью возвращались на своё место. Им весело.

Аксютка же щёлкает зубами.

В углу двора, около сбитенной и хлебной пекарни, несколько человек прокапывали в огромной куче снега норы и проползали через те норы на своём брюхе. В другом углу двора играли в крепость, стараясь выбить друг друга из занятой на куче снега позиции, причём вместо картечи употреблялись в дело снежки. Гришкец и Васенда повалили Сашкеца на снег, зарыли его с руками и ногами в кучу снега, так что торчит одна лишь голова Сашкеца, — он беззащитен, и творят ему *смазь вселенскую*. Гришкец и Васенда хохочут, да и Сашкец хохочет — это была шутка любовная. Всем весело.

Аксютка щёлкает зубами.

На двор училища вошли две женщины — одна старуха, другая лет тридцати с лишком. Спросивши, где живёт *инспектор*, то есть инспектор, они направились к двухэтажному зданию, крыша которого заканчивалась шпилем со звездой. Скоро они уже стояли в зале инспектора. Старуха была женщина дряхлая, лицо в трещинах, до того обожжённое летним солнцем, что и зимою не сходил с него загар; маленькие глазки её бегали, как две перепуганные мыши, и тоскливое их выражение возбуждало жалость. Эта сгорбившаяся дама имела на седой, в висках плешивой голове шерстяной платок, на плечах поношенную шубейку, на ногах мужские сапоги. Другая женщина была лет тридцати двух, высокого роста, рябая, с длинными мозолистыми руками; она смотрела исподлобья с тем беспристрастьем, с которым смотрят люди на что-либо неизбежное в их жизни и с чем они примирились. Одетая она в новую заячью шубку, в новый платок и на ногах её не сапоги, а башмаки козловые.

Они прождали инспектора около получаса. Наконец инспектор вышел, но, очевидно, в дурном расположении духа.

— Что вам надо? — сказал он грубо.

Обе женщины повалились в ноги. Старая заплакала и тем напевом, каким голоса у нас по покойникам, стала приговаривать:

— Батюшка, отец родной... Ох, кормилец, наше горе большое... лишились последнего хлебушка... батюшка, не погневайся!..

Старуха стукнула в пол головою.

Такое раболепие смягчило несколько инспектора, но дурное расположение его духа не миновалось окончательно.

— Говори, зачем пришли...

Старуха от грозного голоса начальника трепетала, терялась и понесла дичь:

— Помер голубчик наш... пришибло сердечного... испил кваску, сначала таково легко...

Инспектор вышел из себя:

— Чтобы чёрт вас побрал, паскудные бабы! — крикнул он, топнув ногою...

Обе женщины замерли...

— Сейчас на ноги и говори толком, а не то метлой выгнать велю!.. Шлюхи!.. и поспать не дадут!..

— Батюшка!.. — начала было опять старуха...

— Иван! — закричал инспектор, — гони их в шею!..

Обе женщины вскочили на ноги. Старуха бросилась из приёмного зала в переднюю. Всё это со стороны казалось очень странным, особенно последний маневр старой женщины; теперь должно было, по-видимому, ожидать, что инспектор окончательно выйдет из себя, но, напротив, взгляд его прояснился, и он стал спокойно ходить вдоль комнаты, дожидаясь тер-

пеливо старухи.

Та скоро вернулась, в одной руке с кульком, в другой — с узлом. То и другое она положила к ногам начальника...

— Что это? — спросил он.

— Не побрезгуй, батюшка, деревенским гостинцем, и...

— Покажи, что тут?

Старуха, торопливо развязывая кулёк, вынимала из него сахар, чай, бутылку рому, сушёные грибы и яблоки, а в узле оказалось десятка четыре аршин холста...

Инспектор не без удовольствия, но и не без достоинства сказал:

— Хорошо, спасибо... В чем же твоё дело?

— Это вот дочка моя, — говорила старуха, — сиротой осталась... были у преосвященного... закрепил за ней местечко... отцовское.

— Ну так что же?

— К тебе послал.

— *За женихами?*

— *За женихами*, батюшка, — и старуха опять чебурах в ноги.

— Хорошо, хорошо.

— Да не озорников каких, батюшка! — Старуха при этом вытянула свою руку, разжала кулак, и на ладони её очутился серебряный рубль.

Инспектор взял старухин рубль и положил его себе в карман с полным спокойствием, точно так, как аудитор берёт с подавдиторного взятку.

— У меня двое есть, а может быть, найдутся и ещё охотники.

После того инспектор расспросил, где место, какие обязательства, доходы, состав причта, спросил адрес старухи и обещал отпустить учеников на другой день на смотрины невесты.

Старуха и невеста, поблагодарив инспектора, отправились восвояси. Они остановились на дворе и посмотрели на пестреющую и кишашую толпу учеников.

«Кого-то из них бог пошлёт кормильцем?» — подумала старуха.

«С кем-то из них под венец идти?» — подумала невеста.

Эта невеста была *закрепленная невеста*, вступающая в брак единственно для того, чтобы не умереть с голоду. У нас на Руси не редкость, что брак устраивается потому, что жених получит повышение по службе и приданое, а невеста пристроится, получит имя жениха и чин его. Но всё это делается более или менее в приличных формах, так или иначе маскируется. И потому не поражает сильно своим безобразием и извращением честных целей брака. Случаев таких везде немало. Но нигде святость брака так не попирается, как в сфере бурсацких типов. Здесь нарушение брака, извращение его узаконено и освящено обычаем. Бурсак, сеченный, быть может, раз четыреста, унижаемый и уродуемый нравственно, умственно и физически часто в продолжение четырнадцати лет, наконец после такой педагогической дрессировки заслуживший диплом, дающий, по-видимому, ему право получить место в приходе, — не иначе может достигнуть этого, как обязавшись взять *такую-то*, по назначению от *начальства, казённую, закрепленную* девицу. Выходит что-то вроде того, когда, бывало, *помещики женили* своих крестьян, а не то, чтобы крестьяне *сами женились*. Когда умирает то или другое лицо духовное и у него остаётся семейство, — куда ему деться? Хоть с голоду умирай!.. Дом (если он церковный), земля, сады, луга, родное пепелище — всё должно перейти преемнику. Русские священники, диаконы, причетники — представители православного пролетариата... У них нет собственности... До поступления на место всякий поп наш гладен и хладен, при поступлении приход его кормит; умирает он всегда с тяжёлой мыслью, что его сыновья и дочери пойдут по миру. Вот это-то пролетариатство духовенства, безземельность, необеспеченность извратили всю его жизнь. Чтобы не дать умереть с голоду осиротевшим семействам духовных лиц, решились пожертвовать одним из высочайших учреждений человеческих — браком. Места *закрепляют* — техническое, заметьте, чуть не официальное выражение. По смерти главы семейства место его остаётся за тем, кто согласится взять замуж его дочь либо

родственницу. Кандидатам на места объявляется об открывшейся вакансии, со взятием *такой-то*. Начинается хождение женихов в дом невесты. Большею частью это делается на скорую руку, всегда назначается срок для выбора невесты, вследствие чего *посылающие* не имеют времени узнать один другого. И бывали такие случаи, что невеста, находясь за двести вёрст, не успевала ко времени приехать в главный епархиальный город; претендент на поповское место не имел средств и времени съездить к невесте; тогда обе стороны списывались; давалось заочное согласие, и, получивши уже указ о поступлении на место, жених ехал к невесте; при таких порядках нередко выходили скандальные столкновения — невеста попадалась старая, рябая, сварливая девчина, и жених ещё до свадьбы порывался побить её. Но когда невеста приезжала в город, так и тогда умели обделывать дела и спускали залежалый и бракованный товар с удивительною ловкостью: щёки невесты штукатурились, смотрины назначались вечером, при слабом освещении, — и рябое выходило гладким, старое молодым... Бывало и то, что до самого венца роль невесты брала на себя её родственница, молодая и недурная собою женщина, иногда замужняя, и уже только в церкви по левую руку жених видел какого-нибудь монстра вроде тех древних изображений, которые в старину сначала задымляли и коптили, а потом променивали на лук и яйца. Что было делать? Бурсак, наглодавшись после бурсы вдоволь, стиснув зубы и скрепив сердце, смотрел на свою будущую сожительницу, но... махнув рукою, поступал согласно внушению Ольги, сделанному ею князю Игорю, и, стоя под венцом, думал думу, как бы в первую же ночь изломать бока своей, чёрт бы её взял, подруге жизни. Нечего говорить, что при подобном надуванье и фальше брак есть зло и поругание самых дорогих, самых святых прав человечества. Но когда при смотринах и сватовстве товар показывали лицом, и тогда редко-редко брак был счастливым. Если часто бывает, что после долгого знакомства брак неудачен, что сказать о том, когда он устраивался на авось... В светских искусственных браках большею частью оскорбляется и унижается женщина; но в бурсацких — и женщина, и мужчина... В светских мужчина говорит: «я сыт, и есть у меня имя, иди за меня — ты будешь сыта и получишь имя»; в бурсацких же не то; жених кричит: «есть нечего»; невеста кричит: «с голоду умираю» — и исход один: соединиться обеим сторонам. Всё это — порождение проклятого пролетариата в нашем духовенстве. Кого же тут винить?

Вот и дьячиха привезла по смерти своего мужа свою задеревенелую дочь и успела закрепить за ней место. Преосвященный послал её в училище, чтобы из готовящихся к исключению выбрать жениха.

В те времена, когда в бурсе свирепствовали Лобов, Батька, Долбёжин и тому подобные педагоги, в ней уже нарождался новый тип учителей, как будто более гуманных.

К ним принадлежал Павел Фёдорыч Краснов.

Павел Фёдорыч был из молодых, окончивших курс семинарии студентов. Это был мужчина красивый, с лицом симпатическим, по натуре своей человек добрый, деликатный.

Хотелось бы нам отнестись к нему вполне сочувственно, но как это сделать?

Он и не думал изгонять розги, а напротив — защищал её как необходимый суррогат педагогического дела.

Но он, наказывая ученика, не давал никогда более десяти розог. Преподавая арифметику, географию и греческий язык, он не заставлял зубрить слово в слово, а это в бурсе почиталось едва ли не признаком близкого пришествия антихриста и кончины века сего. Он позволял ученикам делать себе вопросы, возражения, требовать объяснений по разным предметам и снисходил до ответов на них, а это уже окончательный либерализм для бурсы. Увлекаясь своим положительно добрым сердцем, он входил иногда в нужды своих учеников. Так, мы упомянули в первом очерке об одном несчастном, который был почти съеден чесотными клещами, если бы не Павел Фёдорыч: он сводил его в баню, вымыл, выпарил, остриг его голову, сжёг всю его одежду, дал ему новую и обласкал беднягу. Был случай, что по классам Краснова, за его болезнью, пришлось справлять уроки Лобову. Лобов вознёс Карася и *отчехостил* его на воздушях. То же самое хотел он сделать с цензором класса, парнем лет под

двадцать, но цензор утёк от него; тогда Лобов записал его в журнал, и дело всё-таки пахло розгой. Узнав о том, как в классе свирепствовал Лобов, Краснов вышел из себя, разорвал в клочья журнал и рассорился с Лобовым. Он был справедлив относительно списков, из которых не делал для учеников тайны, а напротив — вызывал недовольных на диспуты. Раз только случилось, что Краснов избил своего ученика собственноручно и беспощадно; но и то по той причине, что бурсак решился острить во время ответа урока самым площадным образом, а Павел Фёдорыч был щекотлив на нервы. Словом, Краснов как частное лицо неоспоримо был честный и добрый человек. Но посмотрите, чем он был как учитель бурсы.

— Иванов! — говорит он.

Иванов поднимается с заднего стола бурсацкой Камчатки, за которую Краснов следил постоянно и зорко, вследствие чего для желающих *почивать на лаврах*, то есть лентяев, он был нестерпимый учитель. Краснов донимал их не столько сеченьем, сколько систематическим преследованием; и вот это-то преследование, основанное на психологической тактике, сильно отзывалось иезуитством. Краснов в нотате видит, что у Иванова стоит сегодня ноль, но всё-таки говорит:

— Прочитай урок, Иванов.

Но Иванов не отвечает ничего. Он думает про себя: «Ведь знает же Краснов, что у меня в нотате ноль... что же спрашивает? — только мучит!»

— Ну что же ты?

Иванов молчит... Лучше бы ругали Иванова, тогда не было бы ему стыдно перед товарищами, потому что ругань начальства на врату бурсака, ей же богу, не виснет; а теперь Иванов поставлен в комическое положение: над его замешательством потешаются свои же, и таким образом главная поддержка против начальства — товарищество — для него не существует в это время.

— Ты здоров ли? — спрашивает ласково Павел Фёдорыч.

Сбычившись и выглядывая исподлобья, Иванов говорит:

— Здоров.

— И ничего с тобой не случилось?

— Ничего.

— Ничего?

— Ничего, — слышится ответ Иванова каким-то псалтырно-панихидным голосом.

— Но ты точно расстроен чем-то?

От Иванова ни гласа, ни послушания.

— Да?

Но Иванову точно рот зашили.

— Что же ты молчишь?.. Ну, скажи же мне урок.

Наконец Иванов собирается с силами. Краснея и пыхтя, он дико вскрикивает:

— Я... я... не... зна-аю.

— Чего не знаешь?

— Я... урока.

Павел Фёдорыч притворяется, что недослышал.

— Что ты сказал?

— Урока... не знаю! — повторяет Иванов с натугой.

— Не слышу; скажи громче.

— Не знаю! — приходится ещё раз сказать Иванову.

Товарищи хохочут.

Иванов же думает про себя: «черти бы побрали его!.. привязался, леший!»

Учитель между тем прикидывается изумлённым, что *даже* Иванов не приготовил уроков.

— Ты не знаешь? Да этого быть не может!

Новый хохот.

Иванов рад провалиться сквозь землю.

— Отчего же ты не знаешь?

Опять начинается травля, до тех пор, пока Иванов не начинает лгать.

— Голова болела.

— Угорел, верно?

— Угорел.

— А ты, может быть, простудился?

— Простудился.

— И угорел, и простудился?.. Экая, братец ты мой, жалость!

Товарищи, видя, что Иванов сбился с толку, помирают со смеху. А мученик думает: «господи ты боже мой, когда же отпорют наконец», и решается покончить дело разом:

— Не могу учиться.

— Отчего же, друг мой?

— Способностей нет.

— А ты пробовал учить вчера?

— Пробовал.

— О чём же ты учил?

Вот тут доходит дело до самой мучительной минуты: хоть убей, не разжать рта, точно губы с пробоем, а на пробое замок. Иванов не обеспокоился не только что выучить урок, но даже узнать, что следовало учить. Павел Фёдорович, боясь, что Иванову подскажут товарищи, встал со стула и подошёл к нему с вопросом:

— Что же ты не говоришь?

Иванов замкнулся, и не отомкнуться ему, несчастному.

Павел Фёдорович кладёт на него руку. Иванов переживает мучительную моральную пытку, да и другим камчатникам вчуже становится жутко.

— Зачем ты смотришь в парту? Смотри прямо на меня.

У Иванова нервная дрожь. Не поднять ему своей головы — тяжела она, точно пивной котёл, который только бил по плечам богатыря.

Между тем Павел Фёдорович берёт Иванова за подбородок.

— Не надо быть застенчивым, мой друг.

Мера душевных страданий переполнена. Иванов только тяжело вздыхает. Наконец, после долгого выпытывания, с тем глубоким отчаянием, с которым бросаются из третьего этажа вниз головой, Иванов принужден сознаться, что он не знает, что задано. Но у него была теперь надежда, что после этого начнутся только распекания и порка, значит, скоро и делу конец, — напрасная надежда.

— Зачем ты забрался на Камчатку? Посмотри, что здесь сидят за апостолы. Ну хоть ты, Краснопевцев, скажи мне, что такое шхера?

Краснопевцеву что-то подсказывают.

— Шхера есть, — отвечает он бойко, — не что иное, как морская собака.

Все хохочут.

— Ну ты, Воздвиженский... поди к карте и покажи мне, сколько частей света.

Воздвиженский подходит к висящей на классной доске ландкарте, берёт в руки кий и начинает путешествовать по европейской территории.

— Ну поезжай, мой друг.

— Европа, — начинает друг.

— Раз, — считает учитель.

— Азия.

— Два, — считает учитель.

— Гишпаниа, — продолжает камчатник, заезжая кием в Белое море, прямо к моржам и белым медведям.

Раздаётся общий хохот. Учитель считает:

— Три.

Но учёный муж остановился на Белом море, отыскивая здесь свою милую Гишпанию, и здесь зазимовал.

— Ну путешествувай дальше. Али уже все пересчитал страны света?

— Все, — отвечает наш мудрый географ.

— Именно все. Ступай, вались дерево на дерево, — заключил Павел Фёдорыч.

Он нарочно вызывает самых ядрёных лентяев, отличающихся крутым, безголовым невежеством.

— Березин, скажи, на котором месте стоят десятки?

— На десятом.

— И отлично. А сколько тебе лет?

— Двадцать с годом.

— А сколько времени ты учишься?

— Девятый год.

— И видно, что ты не без успеха учился восемь лет. И вперёд старайся так же. А вот послушайте, как переводит у нас Тетерин. Следовало перевести: «Диоген, увидя маленький город с огромными воротами, сказал: «Мужи мидяне, запирайте ворота, чтобы ваш город не ушёл». Мужики по-гречески *αὔδεξ* (андрес). Вот Тетерин и переводит: «Андрей, затворяй калитку — волк идёт». Он же расписался в получении казённых сапогов следующим образом: «Петры Тетеры получили сапоги». — Ну, послушай, Петры Тетеры, что такое море?

— Вода.

— Какова она на вкус?

— Мокрая.

— Про Петры же Тетеры рассказывали, что он слово «*maximus*» переводил словом «Максим»; когда же ему стали подсказывать, что «*maximus*» означает «весьма большой», он махнул «весьма большой Максим». Ну, а ты, Потоцкий, проспрядай мне «богородица».

— Я богородица, ты богородица, он богородица, мы богородицы, вы богородицы, они, оне богородицы.

— Дельно. Проспрядай «дубина».

— Я дубина...

— Именно. Довольно. Фёдоров, поди к доске и напиши «охота».

Тот пишет «охвота».

— Напиши «глина».

У того выходит «гнила».

Таким образом Павел Фёдорыч потешался над камчатниками, заставляя их нести дичь. Иванов радовался в душе, что учительское внимание было отвлечено от него. Напрасная радость: то был новый маневр, пущенный в ход учителем.

— Что, Иванов, хороши эти гуси?

Иванов опять приходит в ажитацию.

— Как бы ты назвал этих господ? Не назвал ли бы ты их дикарями? Платонов, что такое дикарь?

— Дикий человек.

— А умеешь ты говорить по-гречески?

— Нет.

— А я слышал, что да. Идёт он с таким же, как сам, гусем. Один гусь говорит: «альфа, вита, гамма, дельта»; другой гусь говорит: «эпсилон, зита, ита, фита». Не правда, что ли? Тогда ещё пирожник назвал вас язычниками. Вот вроде его один господин приезжает к отцу на каникулы. Отец его спрашивает: «Как сказать по-латыни: лошадь свалилась с моста?» — Молодец отвечает: «Лошадендус свалендус с мостендус».

Иванов опять оживился надеждой, что его забыли.

— И не стыдно тебе, Иванов, сидеть среди таких олухов? Я ведь знаю, что ты не станешь спрядать «дубину», не скажешь, что десятки стоят на десятом месте, не поедешь в Ледовитый океан с какой-то «Гишпанией», зачем же ты забрался к этим дикарям?

— Простите, — шептал Иванов.

— В чём тебя простить? — И Павел Фёдорыч опять добивается того, что Иванов сам себе

делает приговор:

— Ленился...

— Дело ли будет, если я прошу тебя?

Пускается в ход новый маневр. Известно, что для школьника мучительна не столько самая минута возмездия, сколько ожидание его. Это понимал Павел Фёдорыч и пускал в ход всю практическую психологию.

— Простить тебя? А потом сам же будешь бранить за это, зачем позволял тебе лениться; скажешь, не дурак же я был — учителя не хотели обратить на меня внимания.

— Простите! — говорил Иванов.

— Да ты знаешь ли, что с тобой может случиться, если, чего избежи боже, тебя исключат? Знаешь ли, что предстоит всем этим камчатникам?

Камчатка внимательно насторожила уши.

— Теперь по Руси множество шляется заштатных дьячков, пономарей, церковных и консисторских служек, выгнанных послушников, исключённых воспитанников, — знаете ли, что хочет сделать с ними начальство? — оно хочет верстать их в солдаты.

— Простите! — говорил Иванов, думая с тоскою: «Боже мой, скоро ли же сечь-то начнут?.. проклятый Краснов!.. всю душу вытянул».

— Я слышал за верное, что скоро набор, рекрутчина. Ожидайте беды...

Мы имели случай в первом очерке заметить, что не раз проносилась грозная весть о верстании в солдаты всех безместных исключённых. Теперь прибавим, что такой проект начальство действительно не раз хотело осуществить, но в духовенстве всегда в этом случае подымался ропот; оно и понятно: многие сильные мира были или сами дети причетников, или имели причетниками своих детей и других родственников. Однако тем не менее грозная весть о солдатчине часто заставляла трепетать бурсаков.

Павел Фёдорыч пользовался этим обстоятельством с полным успехом.

— Как же тебя простить, — говорит он Иванову, — неужели тебе хочется под красную шапку?

— Я буду учиться.

— Как же ты давеча говорил, что не можешь учиться?

Скверно на душе Иванова, потому что учитель доводит его до того, что он сам сознаётся:

— Лгал.

Травля продолжается далее. Приходилось после долгих выпытываний соглашаться, — что и делалось замогильным тоном, — в том, что он должен быть наказан; потом — сколькими ударами розог. Когда ученик был доводим до истомы нравственной и едва не до полупомешательства, тогда только учитель отсылал его к печке, где и давал десять ударов розгами, причём внушалось, что ученик каждый раз при незнании урока будет получать это ординарное количество стежков по тому месту, откуда ноги растут. Решившись обратиться лентяя на путь истины, Павел Фёдорыч всегда доводил свою работу до благоприятного результата, преследуя цель неумоимо и энергически.

— Иванов! после класса приходи ко мне на квартиру.

Пригласивши к себе на квартиру, Павел Фёдорыч заставляет Иванова учить урок в рекреационные часы, так что если и после этого захотел бы лениться, то ему пришлось бы всю училищную жизнь просидеть над книгой, не нашлось бы и в праздничные дни свободной минуты — вечно под носом проклятый учебник, и лентяй со скрежетом зубовым вгрызается в ненавистные строки. Мало-помалу долбня всасывает его и поглощает всецело.

Конец ли?

Нет, всё-таки не конец. Павел Фёдорыч сносится с другими учителями относительно неофита. Долбёжин и Батька говорят неофиту: «А, голубчик, у других ты учишься, а у меня нет?.. Запору, животное, убью!» Те учителя в свою очередь начинали *досекать* лентяя, каждый *до своей науки*. Что тут станешь делать? Поневоле съешь всю бурсацкую науку, хотя в душе созреют и навек укоренятся глубокая ненависть и беспощадное отвращение к той науке. Правда, ученик, досеченный до хорошего аттестата, будет благодарен, но всё же не за бур-

сацкую науку, но за аттестат, дающий ему известные права.

Милостивые государи, как вам нравится подобное варварство в педагогике, к которому, однако, прибегал даже Павел Фёдорыч, человек с сердцем положительно добрым? Что же это значит? Если бы Лобов, Долбёжин, Батька и Краснов не употребляли противоестественных и страшных мер преподавания, то, уверяю вас, редкий бурсак стал бы учиться, потому что наука в бурсе трудна и нелепа. Лобов, Долбёжин, Батька и Краснов поневоле прибегали к насилию нравственному и физическому. Значит, вся причина главным образом не в учителях и не в бурсаках, а в бурсацкой науке, чтоб ей сгинуть с белого света. Мало-мальски развитый семинарист всегда вспоминает о ней с ужасом.

(Окончание в следующем номере)